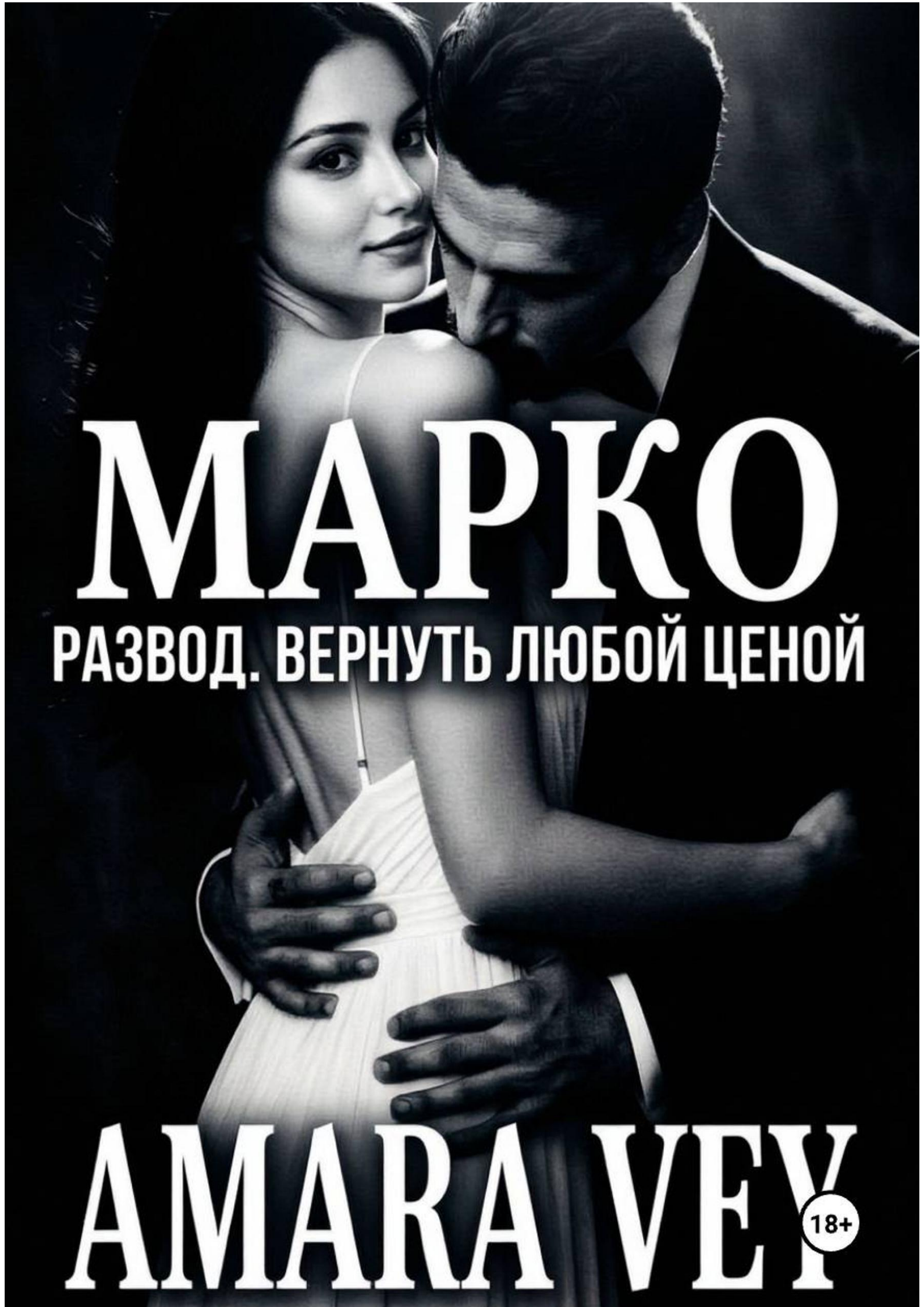




МАРКО

РАЗВОД. ВЕРНУТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ

AMARA VEY

18+

Amara Vey

**МАРКО. Развод.
Вернуть любой ценой.**

«Автор»

2026

Vey A.

МАРКО. Развод. Вернуть любой ценой. / А. Vey — «Автор»,
2026

Он умеет читать контракты, но не умеет читать людей. Она научилась молчать так, что молчание звучало как согласие. В городе, где два дома тридцать лет считают друг друга, их свадьба — не любовь, а расчёт: договор, который должен закрыть войну. До свадьбы тридцать один день. Он будет считать дни. Она — считать его. И ни один из них не знает, что счёт уже открыт — и закрыть его обещали не двоим.

© Vey A., 2026

© Автор, 2026

Содержание

ГЛАВА ПЕРВАЯ	6
Конец ознакомительного фрагмента.	10

Amara Vey

МАРКО. Развод. Вернуть любой ценой.

ТРИДЦАТЬ ОДИН ДЕНЬ

современный любовный роман

Имя автора: __Амара

Аннотация

В портовом городе, где сто лет считают друг друга, брак по расчёту должен закрыть войну двух домов. Марко Вальенте умеет читать контракты, но не умеет читать людей. Малия Морелли научилась молчать так, чтобы молчание выглядело согласием. До свадьбы — тридцать один день. Он будет считать дни. Она — считать его. Роман о том, как счёт, который вели два дома, однажды оказался в руках женщины, которой никто не позволял выбирать, — и она выбрала.

Ключевые слова

современный любовный роман, мафия, Италия, брак по расчёту, порт, два дома, влюблённые враги, любовь, драма, семейные тайны, приморский город

Возрастное ограничение

16+

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Кобальтовые камни мостовой ещё хранили утро — то ли от дождя, то ли от тени, которую отбрасывали на них чёрные машины, выстроившиеся вдоль кованой ограды, словно стая прирученных, терпеливых зверей. Марко вышел из-под арки, и воздух вокруг него как будто стал плотнее. Он не носил пиджаков — в них он походил на всех. Чёрная рубашка, расстёгнутая у горла, рукава, закатанные до локтей, — и на этой небрежности лежала печать абсолютного контроля. Никто не позволял себе так одеваться на встречах, которые решали, кто доживёт до Рождества. Только тот, кто уже не боится. — Синьор Морелли. — Старик протянул руку первым. Он всегда протягивал первым — и всегда следил, кто это заметит. Рукопожатие вышло коротким, сухим, почти нежным. Две ладони, одна из которых держала половину порта, а вторая — половину города, и обе делали вид, что это простая учтивость под окнами старой церкви. — Вы выглядите хорошо, — сказал Морелли, и его седые брови дрогнули в подобии улыбки. — Похороны вам идут. — Я верю в симметрию, синьор. — Марко опустил очки чуть ниже переносицы. — Одни приходят сюда отпевать. Другие — договариваться. Разница невелика. Старик усмехнулся — коротким звуком, похожим на щелчок замка. За спиной Морелли, у самой тени машины, стояла она. Чёрное до пола, ни единого украшения, лицо — как из старой фрески, которую слишком часто реставрировали и потому в ней поселилась усталость. Она не смотрела на Марко. Она смотрела сквозь него — на дальний конец улицы, где жизнь шла обычная: кто-то нёс домой хлеб, кто-то ругался по телефону, кто-то не знал, что в сорока метрах от него решается, у кого осенью будут доки, а у кого — долги. Он заметил её раньше, чем позволил себе заметить. Так было всегда: сначала всё просчитать, потом — один раз посмотреть. Но на этот раз взгляд задержался на долю секунды дольше, чем полагалось, и он поймал себя на том, что запомнил, как лежит тень от её ресниц. — Ваша дочь, — сказал Марко негромко, не поворачивая головы. — В прошлый раз она не приезжала. — В прошлый раз речь шла о деньгах. — Морелли сдвинул очки на лоб. — Теперь речь идёт о наследстве. А на похоронах наследства присутствуют семьи. Марко медленно вернул очки на место. Тёмное стекло снова отделило его от мира — и от неё, что было, возможно, единственным правильным решением из всех, что он принял за утро. — Передайте синьоре, — сказал он, подаваясь ближе, и голос его опустился до шума прибоя, — что у меня нет привычки разбивать то, что собираюсь носить. — И как это понимать? — старик нахмурился. — Никак. Это для неё. Он развернулся первым — всегда первым, никогда не отдавая спину надолго, но сегодня он позволил себе лишние три шага под взглядом, который жёг ему затылок сквозь ткань, сквозь утро, сквозь все расчёты сразу. Дверца машины закрылась так тихо, как закрываются только те двери, за которыми больше не будет пути назад. А она всё ещё стояла на брусчатке, чёрная и неподвижная, и впервые за много лет позволила себе подумать о человеке, за которого её уже, кажется, сосватали — без её ведома, без её слова, без единой спросенной с неё клятвы. «Разбивать то, что собираешься носить», — повторила она про себя и почти улыбнулась. До свадьбы оставался тридцать один день. Она это знала точно. Он — ещё нет.

* * *

Она стояла ему полной луны — и была красивее. Имя ей — Малия. Не в честь ангелов; старая мать Морелли нарекла её так назло, потому что в их роду ангелов не водилось, а красивые женщины водились всегда — как водятся в роду осы, на которых не угадаешь, ужалит или улетит. Восемнадцать ей исполнилось этой весной — тихо, без праздников, которые в их доме всегда стоили дороже подарков. Свой возраст она носила так же, как носила чёрное: спокойно и без оправданий. Люди, знавшие её цену, забывали о цифре в первые пять минут разговора — и вспоминали о ней потом, ночью, с неприятным чувством, что эта цифра была для них ловушкой, а не слабостью. Волосы у неё были цвета той ночи, в которую не заглядывают фонари, —

длинные, тяжёлые, спадающие ниже лопаток единой гладкой массой, какой не бывает у тех, кто хоть раз в жизни суетился. Она не заправляла их за уши даже тогда, когда читала. Это считалось женской прихотью. На деле — тактикой: женщина, чьё лицо наполовину скрыто, читается наполовину. Кожа — тёплого медового оттенка, какой бывает у девочек, выросших на южном побережье, где солнце не палит, а приручает. Ресницы, густые и тёмные до жестокости, — она не красила их; то, что дала природа, ей хватило с избытком, а косметика на ней лежала бы фальшью, как парча на стали. Смотрела она из-под этих ресниц поверх барьера, которым обычно служат глаза, — и в её взгляде не было ни тепла, ни холода, а было то, что страшнее обоих: оценка. Так часовщик смотрит на механизм, который ему придётся вскрыть, или — если повезёт — сломать. Губы — полные, цвета запечённой сливы, спокойные. Самые честные на всём её лице и потому самые опасные: они не умели лгать, и она это знала, а потому училась молчать так, чтобы молчание выглядело согласием. Её называли красавицей — те, кто не знал её. Те, кто знал, называли иначе, но шёпотом и не при свидетелях: дочь старика Морелли, единственная, кто за тридцать лет сумел усадить за стол двух людей, клявшихся друг друга убить. Не обещанием мира — одним молчаливым взглядом из-под ресниц, за которым каждый понял: за этот стол он садится живым, а выйдет живым лишь на её условиях. На ней никогда не было украшений. Ни единого. И вот что понимали единицы: у женщины, которой ничего не дали носить, всё, что она наденет, — станет драгоценностью. Кольцо на её пальце, чужое, холодное, опоясанное маленькими камнями, было бы войной. До свадьбы оставался тридцать один день. И в этот вечер она стояла у окна в комнате, где никто не смел зажигать верхний свет, и смотрела, как внизу, за кованой оградой, заводят мотор чёрного автомобиля. Марко уезжал. Она поймала себя на том, что запомнила — не лицо, не голос, а то, как он поправил очки. Жест мелкий, человеческий, не предусмотренный ни одной легендой о нём. Она отвернулась от окна и впервые за очень долгое время разозлилась. Не на него. На себя.

* * *

Он увидел её глаза раньше, чем лицо — так бывает с огнём в тёмной комнате. Всё остальное он уже знал. Знал заранее, разумеется: портреты, слухи, донесения людей, которые ошибались в ней ровно наполовину. Тёмные волосы, спадающие до пояса, как падает чёрный шёлк с плеча статуи. Кожа цвета мёда, налитого в тёмное стекло. Рот, который не просил пощады ни у кого. Он знал это и был готов остаться равнодушным — равнодушие было его ремеслом, отточенным до блеска, как лезвие, которым никогда не режут хлеб. А потом старик Морелли повёл рукой — «моя дочь» — и она шагнула из тени машины на свет, и Марко снял очки, не успев себе запретить. Это и было первое поражение. Не жест, не поклон, не слово — движение пальцев, поднимающее тёмное стекло. Он заметил его с опозданием на полсекунды, а она заметила сразу. Он видел, как дрогнул уголок её губ — не улыбка, нет. Регистрация. Так вписывают имя в книгу, где будут подводить счёт. Глаза у неё были тёмные — но не цветом. Глубиной. Такие глаза бывают у людей, которые в детстве слишком рано научились молчать в доме, где молчание стоило дороже слов. В них не отражалось утро, не отражался он. В них отражалась она сама — и его собственная реакция на неё, аккуратно подшитая к делу, как улика. — Синьор Марко, — сказала она. Голос — вот чего не было ни в одном донесении. Низкий, чуть бархатный на согласных, без единой лишней ноты. Она произнесла его имя так, как произносят название оружия: зная вес, держа за середину. Он взял её руку. Точнее — она протянула её первой, и это тоже было рассчитано: дочь Морелли не ждёт, пока мир соизволит. Ладонь оказалась прохладной, сухой, крепкой. Ни секунды дольше приличий — и всё же на одну долю мгновения дольше, чем позволил бы страх. Страх в ней не было. Это он понял прежде всего и понял с холодной ясностью человека, который всю жизнь мерил людей именно этим: у неё не было страха. Была скорость. Рядом переминался отец, что-то говорил про «честь», про «два дома», про «осенний срок», — слова стекали по брусчатке, как вода по бортам корабля, и никого не касались. Марко смотрел на её запястье, открытое чёрным рукавом, — тонкое, с тёмной

жилкой, бьющейся ровно. Он поймал себя на nepoзвoлитeльнoй мысли: у неё пульс спокойнее, чем у него. У него — человека, который в четырнадцать лет сидел на этих же кобальтовых камнях и ждал, пока закончатся выстрелы в доме напротив. — Вы не носите украшений, — сказал он. Голос вышел ровным, и он дорого заплатил за эту ровность. — У меня всё, что мне нужно, — ответила она, глядя прямо на него. — Остальное — излишество. — Кольцо — не излишество, синьорина. Это обязательство. — Обязательство, — повторила она медленно, как пробуя слово на зуб, — носят на руке. Носить его можно и в другом месте. Я предпочитаю знать, где, прежде чем надевать. Старик что-то начал было говорить — и осёкся, потому что оба на него не взглянули. Они уже говорили не с ним. Это случилось само, без договорённости, как сцепляются шестерни: один поворот — и механизм пошёл, и старик понял, что только что стал третьим в разговоре о своей собственной дочери. — Тридцать один день, — сказал Марко тихо. — Тридцать один день, — согласилась она. И впервые за всё утро позволила ресницам опуститься — медленно, как опускается занавес, за которым уже решено всё, о чём зритель ещё спорит. — Не опаздывайте, синьор. Я не выхожу дважды. Он отступил на шаг — вовремя, потому что ещё один, и он сказал бы что-то, чего не говорил никому за последние десять лет. Сел в машину. За стеклом, в безопасности тёмного очка, позволил себе посмотреть на неё ещё раз. Она стояла у кованой ограды, чёрная на чёрном, и смотрела, как уезжает он, — но не вслед. Чуть мимо, в точку левее, где, как он вдруг понял с заносчивостью человека, привыкшего читать города как книги, стояла его другая машина. Та, вторая. Она проверяла, уедет ли он тем, чем собирался, или тем, чем притворялся. Марко опустил стекло и на мгновение — ровно на одно мгновение — показался ей лицом без очков. Пусть знает, подумал он. Пусть записывает. Машина тронулась. В зеркале заднего вида она не шевельнулась. И в этом — в том, что она не позволила себе даже поворота головы, — было больше обещания, чем во всех клятвах, что он слышал за свою жизнь под крестом и без него. Тридцать один день. Он больше не был уверен, кто из них идёт на войну.

* * *

О Марко в её доме говорили шёпотом — а шёпот она не уважала. Шёпот — это страх, успевший надеть на себя приличия. Говорили: жестокий. Она знала, что жестокими называют мужчин, которые не оглядываются. Говорили: опасный. В её мире это слово было комплиментом ничем не примечательным. Говорили: красивый — и вот тут, впервые, не солгали. Он вышел из-под арки, и она поняла, что будет запоминать его против собственной воли. Не лицо — сначала рост и то, как он держал плечи: широко, свободно, как держат дверной проём, в который не собираются входить вторым. Чёрная рубашка, расстёгнутая у горла ровно настолько, чтобы было видно: человек дышит, — и больше никаких уступок. Рукава, закатанные до локтей, открывали предплечья, о которых можно было бы писать учебник анатомии, если бы учебники писались с такой же сдержанной угрозой. Кисти рук она рассмотрела позже — и дольше, чем следовало. Колец на них не было, но были татуировки: мелкие, точные, как звёзды на картах, по которым ходят только ночью. Руки выглядели так, будто много лет занимались не работой — последствиями. На левом запястье — часы, массивные, с тёмным циферблатом. Она подумала, что такие часы не показывают время. Они показывают, сколько его у тебя осталось. Волосы — тёмные, зачёсанные назад с той дисциплиной, за которой у людей такого сорта всегда прячется упрямство. Щетина — короткая, ровная, как будто он брился не для встречи, а для себя. И всё это лицо было бы просто красивым, если бы не глаза: светлые, зелёно-ореховые, неожиданно светлые для человека, одетого в ночь. В них не было ни тепла, ни холода — и это её не обмануло. Тепло и холод — это погода. У него была климатическая система: он выбирал, что включить, и включал без предупреждения. Очки он носил не от солнца. Она поняла это по тому, как он ими владел: опускал на переносицу — когда хотел, чтобы его слышали; поднимал — когда хотел, чтобы его не читали. Тёмное стекло было не аксессуаром, а границей государства, на территорию которого допускались немногие. И когда

он снял их — быстро, как будто забыв, что держит в руках оружие, — она успела отметить эту секунду раньше, чем он успел её отыграть. Руки он пожал её отцу — коротко, сухо, на одну долю мгновения дольше, чем требует смерть, и меньше, чем требует война. И всё это время смотрел не на старика. На неё. Не так, как смотрят на дочь противника: по-хозяйски, считая приданое. И не так, как смотрят на женщину: жадно, забывая счёт. Он смотрел так, как смотрят на документ, который ещё не подписал, но уже не вернёт в папку. «У меня нет привычки разбивать то, что собираюсь носить», — сказал он её отцу, глядя на неё. Она перевела это с мужского на свой: он ещё не знал, кто из них здесь вещь. Хорошо. У неё было тридцать один день, чтобы объяснить. Когда он уезжал, она смотрела не вслед — чуть мимо, на вторую машину, ту, что стояла левее и в которой сидел человек, дышавший слишком ровно для простого водителя. Она проверяла, уедет ли он тем, чем собирался. Он уехал тем, чем притворялся. Это ей и нужно было знать. Вечером она поймала себя на том, что помнит не его лицо и не его голос, а мелкий жест: два пальца, поправляющие очки. Жест человека, у которого всё было под контролем, — и который за одно утро потерял ровно полсекунды. Полсекунды. С неё хватит.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.